

*К вопросу об эффективности «слабой силы»  
в гендерной теории*

*Александр Смулянский*

Не я являюсь первым автором, утверждающим, что гендерные исследования в России, ставшие сегодня известными и в российском интеллектуальном пространстве, являются продуктом не слишком удачного импорта западной гендерной теории. Конечно, транспортировать то, что продолжает образовываться, всегда затруднительно; в результате местная сборка искажает, на мой взгляд, критический подход западной гендерной мысли ко всем прочим критическим инициативам и, через них, ко всему интеллектуальному доминиону социальных наук и обществу в целом. В результате можно констатировать, что, не успев стать воспринятой, гендерная мысль в России сделалась действительно известной – как в академической среде, так и в современном искусстве. Однако мало кто подозревает, что ее устройство представляет собой нечто совершенно иное, и разглядеть это иное трудно.

Именно поэтому складывается ложное впечатление, будто дорогу на гендерную площадку – равно как и на любую критическую – можно отыскать, руководствуясь исключительно социальным рессентиментом, общим чувством изначальной ущемленности, которое ищет теоретического подтверждения. Худшего начала для мысли действительно трудно представить. Однако, на мой взгляд, хотя значительная часть существующих ныне гендерных программ, стратегий или инициатив в российской академии и искусстве не развеивает этого впечатления, следует настаивать на том, что оно ошибочно. Отношение, в котором изначальное состоит с прочими инициативами и трендами гендерная мысль, – это отношение интеллектуальной конкуренции. Мой радикальный тезис в отношении гендерной теории состоит в том, что я считаю, что речь в ней не идет – и не шла с самого начала – о каком бы то ни было «соперничестве полов», но исключительно о соперничестве мысли, способной продемонстрировать, каким образом существо и устройство происходящего в обществе смещено по отношению к его явному содержанию.

При этом, сказав о «соперничестве», я хочу сказать следующее: конкуренция здесь подразумевает не соревнование в силе. Напротив, вместо прежней

феминистской задиристости западная гендерная мысль готова была быть не «сильной», но «слабой» силой. Последнее напрямую отсылает к «слабой мессиианской силе» Вальтера Беньямина, о которой речь зашла как раз тогда, когда начали оформляться все те социально-политические движения, которые сегодня называются критическими. Хотя перспектива этой силы не была ими внешне учтена, тем не менее, она постоянно находилась в их арьергарде, составляя собой запас, альтернативу, которая разрабатывалась по краям критической теории, до времени лишь слабо затрагивая последнюю. Тем не менее, там, где та или иная критическая инициатива делала полный круг, исчерпав все ресурсы действенности, «слабая сила» вновь заявляла о себе, предлагая себя в качестве особого источника движения там, где прежние уже не работали.

Сила эта, по мысли Беньямина, уникальна тем, что «сильным» в ней является не тот, кто со своей стороны совершает запрос, но то, к чему сам запрос оказывается обращен. Отнюдь не задор спрашивающего – задор критический, практический, активистский – имеет значение, но нечто такое, что ставит сцену дальнейшего спрашивания и тем самым уже действует в ситуации. Именно потому речь идет именно о силе «слабой», действенной не количественной мощью, но своим постоянным присутствием. Чтобы это присутствие различить, также требуются средства, которые не назовешь «действенными» в житейском смысле слова. Тем не менее, именно понятие «слабой силы» заставляет учесть существование плана критической мысли, который, вызывая этот самый задор, отнюдь к нему не сводится и не может быть им исчерпан.

Все это тем более актуально в свете того, что современное российское гендерное сообщество *en masse*, на мой взгляд, видит себя в перспективе активного участия и постоянной неослабевающей влиятельности, которая порой понимается абсолютно буквально. Сделаться «действенной» – задача современного российского гендерного сообщества, которое, исходя из этой задачи, предъявляет к себе соответствующие требования и оценивает свою эффективность. При этом упускается уже известное на более раннем критическом опыте – а именно то, что максима «действенности» сама по себе не обладает никаким гарантирующим свойством. Более того, она оказывается метафизической максимой, пришедшей из краев, где «приращение мощи» составляет цель, носящую полностью абстрактный характер. Метафизичность эта в современной философской мысли, по моему мнению, давно уже изгнана, тогда как среди более широкого круга критико-социальных дисциплин она успешно здравствует до сих пор и никаких дурных вестей о себе не получала. Тем не менее, именно она ответственна за то, что там, где те или иные социально-критические инициативы склонны видеть свои усилия радикальными, на деле происходит все более глубокое увязание в средах, которые должны были по общему замыслу являться для критики совершенно чуждыми.

Это увязание сегодня делается все более заметным, поскольку уже принесло видимые плоды. Первым из них является положение, в котором так мало существенной разницы между российскими гиподинамическими академизированными и, как будто противоположными по духу, социально-практическими гендерными перспективами. Со стороны дискурса оба эти направления оказываются, зачастую, неразличимы. И та, и другая сторона использует, на мой взгляд, массу поп-категорий, за которые никто не способен взять на себя ответственность. Не в последнюю очередь так происходит потому, что современные российские гендерные инициативы, которые к этим понятиям прибегают, видят себя уже ответственными по одному только факту своей социальной или академической инициативности, в доброкачественности которой всегда заранее уверены.

Именно эта уверенность ответственна за печать стерильности, которую сегодня, на мой взгляд, носят многие из критических начинаний, не в последнюю очередь включая дискурс и практики гендерных исследований. Следует сказать, что «стерильность» сегодня больше не является характеристикой чистой теории, отвлеченной спекуляции, как на это было модно пенять когда-то в критических кругах. Несмотря на то, что мода эта, как и любая мода, не торопится уйти, сегодня мы уже находимся перед реальностью другого расклада, в котором стерильность – это характеристика самого акта, в какой бы форме он свою «активность» не предъявлял. Стерильными с равным успехом могут оказаться вузовский учебник и активистская программа, речь на рядовой конференции по гендерным исследованиям и комментарий к провокационной художественной выставке.

Необходимо удерживать в памяти, что вместо «силы и действенности», оборачивающихся бессилием там, где отказываются признавать ту долю бездвиженности, что в них изначально заложена, основной нерв гендерной мысли изначально призван был стать чувствительным в отношении проблематизаций, которые не обещают быстрого решения. Первоначальная ставка гендерных исследований должна была быть ответом на ту теоретическую установку феминистской теории, благодаря которой феминизм пытался сделаться влиятельным и социально активным, используя свой предмет в качестве обоснования.

Однако, этот ответ, по моему мнению, не состоялся ни в западной гендерной теории, ни в современной российской.

В итоге современное российское гендерное сообщество должно настичь плодотворное разочарование, способное показать, что для критической мысли (в том числе гендерной) не существует никакого изначального оправдания – никакой презумпции, которую обеспечивал бы сам объект этой мысли или общественно-полезная цель, которую она преследует. Ставка на моральное преимущество в ситуации, обеспечивающая западному, а затем российскому феминизму ощущение превосходства, оказалась проигрышной – она, я считаю,

не только не смогла спасти феминистское движение от понятийного и программного разрушения, но и не в последнюю очередь стала его причиной.

Последнее показало, каким образом необходимо изменить перспективу критической мысли. Это изменение потребовало от нее ряд движений, смелость которых должна быть оценена по достоинству, поскольку сегодня на них способны так же плохо, как и тогда. Тем не менее, речь с самого начала шла не о смелости, а именно о критико-теоретической необходимости, которая практически принудительно заставила западных гендерных теоретиков изменить расклад, уже в то время привычный как для протестной, так и для официально-гуманитарной мысли. То, чем первоначально должна была сделаться и сделалась гендерная теория для феминистского движения – это, на мой взгляд, *коррекция*. При этом о коррекции приходится говорить с толикой фигуральности – причем не ослабляющей, а усиливающей, поскольку коррекция эта заключалась в решительном ущемлении порой самых сердцевинных и чувствительных мест феминистской теоретической уверенности. Прежде всего, требовалось дезактивировать ее защитительный характер, который и обеспечивал ей чувство того, что выше мы называли «моральным превосходством».

После современного самоупразднения гуманитарности любого образца необходимо признать: сам объект критических усилий – женщина, иноземец, угнетенный – не является ни «уникальным», ни «ценным» (да и как можно было бы на одной только бюрократической гуманитарной установке на «ценность» продолжать критическое движение?). Напротив, мера его значимости определяется тем, что он способен заново репрезентировать вопросы, заданные тогда, когда ни женщина, ни иноземец, ни угнетенный на повестке дня еще не стояли. Вопросы эти могут казаться «непроблематическими», «недостаточно актуальными» – и, тем не менее, любое дальнейшее критическое продвижение непременно обнаруживает себя на их территории – или же, в противном случае, обнаруживает, что упустило само себя. Иначе говоря, значимость того, что любая отдельная критическая инициативы полагает своим непосредственным предметом, на самом деле всегда лежит в другом пункте, вопрошание о котором только и может придать объектам критики актуальный характер.

Вывод этот может показаться недостаточно гуманистическим – и это будет верное впечатление, поскольку он не является гуманистическим. Тем не менее, речь идет исключительно о *необходимости* – ибо выясняется, что отказ от «непроблематических вопросов» и от вопросительной кривой, которую они задают, приводит к тому, что они, так или иначе, возвращаются. Происходить это может потому, что сама «социальная критика», сегодня мыслимая в виде чистой орудийности, в виде некоего более или менее действенного средства, ведет свое происхождение из панорамы тех же самых вопросов, которым она сегодня больше не желает быть обязана. Но, пребывая внутри критики неузнанными, последние задают меру асинхронизации, груз которой и придает уже

нынешней как западной, так и российской гендерной теории ее бюрократический облик – облик, не зависящий от меры и силы активности и протестности и не отменяемый последней. В результате апелляция и доверие к «слабой силе» сегодня заново проявляется в качестве альтернативы, с одной стороны, и неизбежности, – с другой; и этот характерный для нее альянс выбора и неизбежности и есть, на мой взгляд, положение как западной, так и российской современной гендерной мысли.

Поэтому я хотел бы возобновить те вопросы, которые стали первичными опорами для возникновения гендерной теории на базе феминистской и посредством продумывания которых ей в свое время удалось универсализировать все современное критическое поле социальных наук и общества в целом. Я назову четыре таких вопроса:

1. *вопрос повторения* – как возвращения симптома спрашивающего (о гендере и условиях гендерной субъективации) и невозможность уйти от вопроса, который становится новой развилкой аналитики. Вопрос этот в гендерной теории обладает, на мой взгляд, странной судьбой, поскольку поначалу не был в ней представлен, уступая поле более активной «антиэссенциалистской критике», прочитывающей гендерную дилемму исключительно на оси «тождества/различия», где работа «повторения» неразличима. Лишь сегодня вопрос о «повторении» имеет шанс получить признание в гендерной теории. На мой взгляд, сегодня становится очевидно, что повторение с самого начала принимает реальное участие в тех процессах, которые феминистская критика откладывала на будущее – в частности, вопрос сопротивления Единому;
2. *вопрос «снятия»* – как снятия повторения вопроса и его переформулирования. Этот трудноподъемный концепт сделался актуальным для гендерной теории в тот момент, когда в нем заподозрили критический потенциал. Его место поначалу продумывалось в измерении вопроса о «старом и новом», где снятие должно было гарантировать освобождение от устаревшего наличествующего. Сегодняшняя очевидная дискредитация императива «новизны» требует для «снятия» повторного продумывания, которое должно прояснить, каким образом его процедура сопряжена, с одной стороны, с повторением, а с другой, – способна разорвать порочный круг, в который заходит критика, оперирующая понятиями Единого и Тождественного;
3. *вопрос власти и «рессентимента» как мифологии власти, который возвращается из места «слабой мессианской силы» как симптом повторения и переноса*. Речь идет о том положении, в котором изначально находится феминистская мысль, разделяя более общую судьбу протестной мысли вообще – это метафизическое представление о «власти» как о давлении со стороны более сильного. Данное представление само по себе образует

род силового поля, которое затрудняет продвижение мысли, предпосылая вывод там, где зачастую еще не поставлен вопрос. Потому необходимым становится напоминание о том, что критическая идеологема «власти как силы» не является универсальной опорой для этического сопротивления, но сама должна продумываться как историчное и частное образование – наряду с другими формами воображаемого;

4. *вопрос реальности*. Последний сегодня оказывается собран и вытолкнут на поверхность из источников настолько различных, что поначалу данный факт может показаться обескураживающим. Тем не менее, именно различие этих источников позволяет удерживать внутреннюю гетерогенность, без которой не удастся показать, что императив реальности равнозначен императиву критической мысли как таковой.